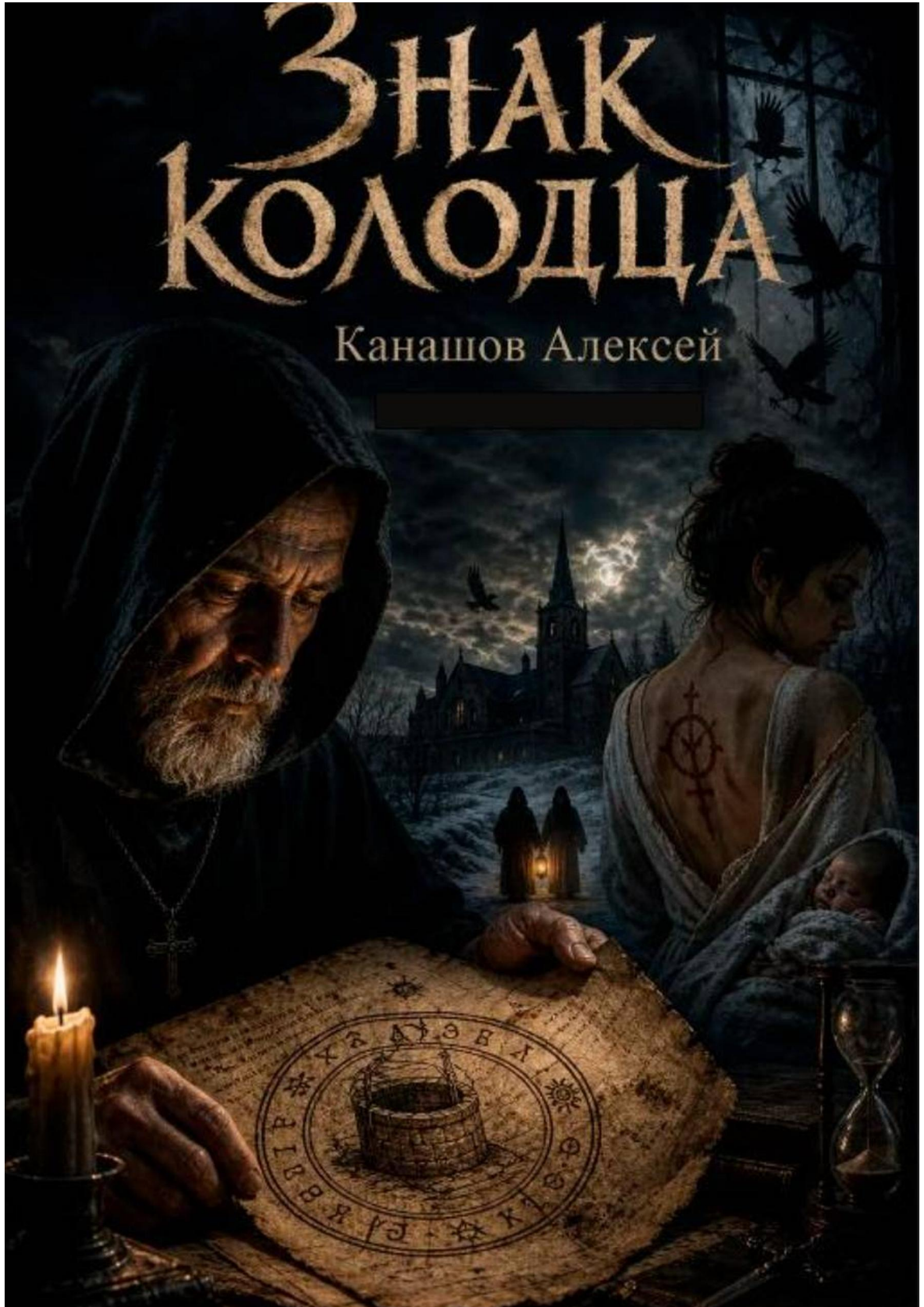
Знак колодца

Канашов Алексей



Алексей Канашов

Знак колодца

«Автор»
2026

Канашов А. Г.

Знак колодца / А. Г. Канашов — «Автор», 2026

«Знак Колодца» — мистический триллер в духе монастырской готики.Монах из монастыря Святого Эгидия (штат Мэн) сорок лет переводил пергамент XV века — и расшифровал пророчество: зимой родится ребёнок от женщины, не знающей отца, и к своей седьмой зиме он перестанет быть человеком. Настоятель решает предотвратить это — найти мать и дитя и не дать ребёнку дожить до рокового возраста. Брат Томас находит девятнадцатилетнюю официантку Дженни, которая не помнит ночи зачатия, а на спине у неё метка из пророчества. В ночь родов птицы бьются в окна больницы; мальчик рождается молча. Дженни говорят, что сын умер, — а младенца тайно увозят в монастырь, где запрещают давать ему имя.Но на пергаменте есть оборванная фраза: «И только матерь...» — и, возможно, спасение зависит именно от той, кого обманули.

© Канашов А. Г., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Рукопись брата Ансельма 5
Часть первая. Поиски 7
Глава 1. Человек в «Форде» 7
Глава 2. Дженни 8
Глава 3. Ночь, когда птицы 10
Глава 4. Ложь 12
Часть вторая. Монастырь 14
Глава 5. Имя 14
Глава 6. Эллен-Роуз 16
Глава 7. Первые годы 17
Глава 8. Последний день рождения без тени 19
Конец ознакомительного фрагмента. 20

Алексей Канашов
Знак колодца

Пролог. Рукопись брата Ансельма

Из тетради в клеёнчатой обложке, найденной в архиве монастыря Святого Эгидия, Холодный Хребет, штат Мэн.

Я начинаю писать это в ночь на двадцать первое декабря 1985 года, потому что к весне могу ослепнуть, а к осени - умереть, и тогда некому будет рассказать то, что я знаю. Меня зовут Ансельм Феррье. Мне восемьдесят четыре. Шестьдесят из них я провёл в этих стенах и сорок - над одной-единственной страницей.

Страница лежит у меня под стеклом. Это пергамент, вернее, то, что от него осталось: коричневый, ломкий, пахнущий так, как пахнет подвал, где долго хранили яблоки. Написана она в 1431 году братом Герхардом из Кёльна, который, как сказано в приписке, «видел то, чего видеть не должен, и потому лишился языка, но не руки». Герхард записал то, что к нему пришло во сне - или в том состоянии, что бывает между сном и тем, что хуже сна.

Вот что я успел перевести за сорок лет, не доверяя ни одной запятой.

«Он будет рождён зимой, под знаком Колодца, от женщины, которая не узнает отца своего дитяти. Он будет красив и тих. Он не заплачет при рождении, и птицы в тот час станут биться в окна дома.

Пять зим пройдёт он невинным, как всякий младенец, ибо Тот, Кто ждёт, не может войти в сосуд, пока сосуд не окреп. Но в пятую зиму Он начнёт входить, и будет входить по капле, как вода в лодку. И когда минет ещё две зимы и наступит ночь, когда день умирает совсем, Он войдёт в сосуд до дна, и тогда не останется ничего, что можно спасти».

Дальше - повреждённый кусок, и после него последняя фраза, которую я перевёл тридцать лет назад и до сих пор не уверен, что понял:

«И только матерь…»

На этом пергамент крошится. Я долго думал, что там, в разрыве, было написано что-нибудь про молитву, про огонь, про серебро - про то, что обычно пишут в таких книгах. Я ошибался. Но об этом позже, если мне хватит времени.

Я записал всё это в своей келье, при свече, потому что электричество в нашем крыле отключают после девяти - отец-настоятель считает, что лампочки «размывают молитву». У меня на столе остывает чай. За окном метёт, и снег залепляет стекло так плотно, что кажется, будто мир кончился в пяти дюймах от моего лица.

Отец Бенедикт Рау прочёл мой перевод на прошлой неделе. Он долго молчал. Потом сказал:

- Сколько нам ещё ждать, Ансельм?

- Знак Колодца - это созвездие, - сказал я. - По моим расчётам, в ближайшие два года. Может, меньше.

- Значит, мы должны её найти.

- Кого?

- Мать, - сказал он. И я увидел в его глазах то, что видел в них уже много раз за тридцать лет, но никогда так ясно: не злобу, нет. Рау не злой человек. Он просто принял решение раньше, чем выслушал вопрос. - Мы найдём мать. Мы найдём дитя. И мы сделаем так, чтобы оно никогда не дошло до своей седьмой зимы.

Я хотел сказать, что на пергаменте есть ещё одна фраза. Что она оборвана. Что нельзя строить церковь на половине предложения. Но я старый человек, и я трус, а в келье было холодно.

И я промолчал.

Господи, прости мне это молчание. Я пишу «прости», а сам не знаю - просить ли у Тебя прощения за него или благодарить?

Часть первая. Поиски

Глава 1. Человек в «Форде»

Брат Томас Дойл ненавидел ездить в город.

Не потому, что в городе было много соблазнов - соблазны у него остались в прошлой жизни, в Бостоне, вместе с страховой конторой, разведёнкой-женой и привычкой выпивать по четыре бурбона перед ужином. Нет, дело было в другом: в городе на него смотрели. Мужчина сорока одного года, в чёрной куртке поверх чёрной рясы, на ржавом «Форд-Таурусе» с монастырскими номерами - таких людей в Мэне замечали сразу и запоминали надолго.

«Ничего, - говорил он себе, паркуясь у закусочной «У Бетти» в городке Милбрук, в сорока милях от монастыря. - Ты просто странный дядька, который любит яичницу».

Был конец ноября 1986-го. Асфальт блестел чёрным, как мокрый уголь, по краям парковки лежали серые сугробы с вмёрзшими окурками. Над входом мигала вывеска, где у слова «OPEN» перегорела буква P, так что получалось «O EN», и это почему-то казалось Томасу дурным знаком.

У него в кармане лежал список. Отец Рау назвал его «Реестр», а Томас про себя звал «Моя Тошнота»: шесть листов машинописи, каждый пункт - признак из пергамента брата Герхарда, переведённый и проверенный. Женщина, не знающая отца ребёнка. Рождённая в день, когда над землёй стоит знак Колодца (3 января, плюс-минус). Живущая рядом с водой и камнем. Имеющая метку - тут Ансельм колебался, - «в виде подковы под левой лопаткой».

Томас искал её почти год. Он объездил четыре штата. Говорил с акушерками, священниками, соцработниками, хозяйками мотелей. Он научился делать участливое лицо и врать: «Я из благотворительного фонда помощи матерям-одиночкам». Он видел сто двадцать беременных девчонок, и ни у одной не было подковы.

В «У Бетти» он зашёл за яичницей. Села напротив, через проход, компания дальнобойщиков, пахло жареным луком и кофе, который варили, кажется, ещё при Эйзенхауэре. Из кухни неслось радио: кто-то пел про любовь, которая не умирает.

Официантка поставила перед ним тарелку.

- Кетчуп надо? - спросила она.

Она была совсем юная - лет девятнадцати, не больше. Светлые волосы, собранные в хвост, веснушки, усталые, но совсем не злые глаза. На бейджике - «ДЖЕННИ». Живот она прятала под фартуком, но Томас был бывшим страховым агентом, а страховые агенты, как и монахи, замечают то, что люди не хотят показывать. Седьмой месяц, может быть, восьмой.

- Кетчуп, да, пожалуйста, - сказал он и услышал, как у него дрожит голос.

Она наклонилась, чтобы поставить бутылку, и воротник её форменного платья чуть оттянулся. На шее, ниже линии волос, Томас увидел край тёмного пятна. Подкова. Он готов был поклясться, что подкова.

- Вам плохо? - спросила Дженни. - Вы побледнели.

- Нет, - сказал Томас. - Нет, всё хорошо. Просто… в горле застряло.

- Запейте кофе.

Он запил. Кофе был ужасный. Томас сидел и думал о том, что, когда он вернётся в монастырь и положит перед настоятелем бумажку с адресом, жизнь этой девочки закончится так, как заканчивается жизнь всякого, кто попал в Реестр. Не умрёт - этого отец Рау не допустит. Но станет *объектом*. Предметом наблюдения.

И он, Томас, будет за это отвечать.

Он оставил двадцать процентов чаевых, хотя яичницу так и не съел.

Глава 2. Дженни

Дженни Колдуэлл родилась третьего января 1967 года в семье, о которой ничего хорошего сказать нельзя, но и ничего особенно ужасного. Отец - Рэй Колдуэлл, монтажник на лесопилке, пьющий тихо и методично, как другие люди читают газету. Мать умерла от рака, когда Дженни было двенадцать. С тех пор Дженни готовила, стирала, платила за свет и выучила два правила: никогда не просить, никогда не жаловаться.

Про беременность она узнала в июне. Она сидела в туалете закусочной и смотрела на полоску из аптеки так долго, что кто-то постучал: «Колдуэлл, ты там уснула?»

Она не знала, от кого.

Это была самая странная часть. Не то чтобы она ходила по рукам - нет, у неё был один парень, Дэнни Бойл, но Дэнни уехал в армию за год до этого, и они расстались в слезах и без последствий. А потом, в апреле, была та ночь.

Она помнила только обрывки. Озеро Каммингс. Не по-апрельски тёплый вечер, пахнущий тиной и дымом чужих костров. Она ушла от компании - просто пройтись. Села на камень, на самый край воды, и смотрела на звёзды, которые в тот год почему-то были особенно яркими и как будто стояли ближе. А потом - белое. Не провал, не темнота, а именно белое, как лист бумаги. И запах: старый воск, каменная сырость, что-то церковное.

Она очнулась на том же камне, в мокром платье, на рассвете. Всё болело - не так, как болит после насилия (она, к своему ужасу, знала это ощущение, потому что в шестнадцать лет её уже один раз обидели в школьной раздевалке), а как будто она пробежала десять миль. Она решила: перегрелась, заснула.

В июне поняла, что нет.

Отцу сказала только в октябре, когда скрывать стало невозможно. Рэй выслушал, сидя над тарелкой с остывшей картошкой, и сказал:

- Кто?

- Не знаю, пап.

Он поднял на неё глаза - красные, воспалённые, вдруг совершенно трезвые.

- Как это - не знаешь?

Она пожала плечами. Она никогда не умела объяснять то, чего не понимала сама. Рэй посмотрел на неё ещё секунду, потом встал, вышел на крыльцо и стоял там два часа, на морозе, в одной рубашке. Когда вернулся, сказал только:

- Ладно. Будем рожать.

Это было самое доброе, что он сказал ей за всю жизнь.

Сначала она ничего не замечала. Потом стала замечать: серый «Форд» у закусочной. Тот же человек в чёрной куртке за столиком у окна. Другая машина - синий пикап - около их дома на Прайд-стрит. Мужчина с биноклем на дальнем берегу озера Каммингс, который, увидев, что она смотрит, быстро сделал вид, будто следит за птицами.

Она сказала об этом Бетти, хозяйке закусочной.

- Может, из соцзащиты? - предположила Бетти. - Или от отца твоего ребёнка?

- Я не знаю отца своего ребёнка, - сказала Дженни, и впервые это прозвучало вслух не как стыд, а как факт.

Бетти вытерла руки о фартук и долго смотрела на неё.

- Знаешь что, детка, - сказала она, - а ты бы шла домой пораньше. Я тебе не стану записывать эти часы как прогул.

Дженни пошла. По дороге она остановилась на мосту через Милл-ривер, где у берегов уже схватывался первый лёд, и положила обе ладони на живот. Ребёнок толкнулся - тихо, но очень ясно, словно говоря: *я здесь*.

Она не знала, почему ей вдруг стало так спокойно.

- Всё будет хорошо, - сказала она вслух. - Слышишь? Я тебя никому не отдам.

Над головой, на проводах, сидели вороны. Их было, наверное, сто. Они молчали и смотрели не на неё, а на её живот.

Глава 3. Ночь, когда птицы

Младенец появился на свет третьего января 1987 года - в день двадцатилетия самой Дженни, что показалось бы ей забавным совпадением, если бы она знала, что это не совпадение.

Схватки начались в одиннадцать вечера, посреди метели. Рэй, проспав половину вечера, обнаружил, что дочь сидит на кухне и дышит в ладони.

- Пап, - сказала она спокойно, - кажется, пора.

Он довёз её до больницы Милбрук-Мемориал на своём «Додже-Рэме», за двадцать минут преодолев путь, который обычно занимал сорок. Он ничего не сказал по дороге, только один раз протянул руку и стиснул её колено так, что остался синяк.

В приёмном покое их встретил доктор Эдгар Хаскелл - не дежурный врач, а лично он, шестидесятилетний акушер-гинеколог, лысый, с седыми бровями и голосом человека, привыкшего успокаивать женщин в худшие минуты. Позже Дженни будет думать: а почему он оказался там? Он ведь жил в Портленде, в двух часах езды. Но тогда ей было не до вопросов.

- Ну-ну, - сказал доктор Хаскелл, беря её за руку, - всё идёт как надо, милая. Давайте-ка в родовую.

Потом она помнила всё в обрывках, как во сне.

Белый потолок с трещиной в форме реки. Холодный металл. Чей-то голос: «Дышите, дышите». Лампа, такая яркая, что хотелось плакать. Боль, которая накатывала, как поезд.

И птицы.

Она услышала их в самом разгаре, когда уже казалось, что она не выдержит. Сначала - стук. Тихий: тук, тук. Потом громче. Потом оно превратилось в град, в ливень: тысячи крошечных ударов по стеклу, по стене, по крыше. Акушерка - молодая, в очках - вскрикнула и бросилась к окну.

- Господи Иисусе, - сказала она. - Доктор Хаскелл, там…

- Не отвлекайтесь, - отрезал он.

Но Дженни повернула голову и увидела. В окне родовой, на фоне метели, висело *шевелящееся тёмное месиво*. Воробьи, синицы, юнко, вороны, несколько сов - Господи, откуда сов? Птицы бились о стекло, падали, поднимались и снова били. Некоторые оставляли на стекле красные мазки. Они не пытались проникнуть внутрь. Они пытались, как ей показалось, *предупредить*.

- Тужьтесь! - сказал Хаскелл.

Она тужилась. Она закричала. И вдруг боль кончилась - просто оборвалась, как перерезанная нитка.

Она ждала крика. Все рассказывают про первый крик. Но в родовой было тихо. Только птицы за окном, но и они вдруг умолкли, словно кто-то повернул ручку радио.

- Мальчик, - сказал Хаскелл странным голосом.

- Он… он дышит? - спросила Дженни. - Почему он не…

Она увидела его на секунду. Всего на одну секунду, потому что акушерка уже закутывала его в зелёную пелёнку. Крошечное лицо, тёмные волосы, сомкнутые глаза. Ресницы такие длинные, что на них, казалось, можно было повесить слёзы.

А потом он открыл глаза.

Они были тёмно-серые, как зимнее небо перед снегом, и смотрели прямо на неё. Не в никуда - как смотрят новорождённые, - а *в неё*. Узнающе. Почти насмешливо. И в этот момент Дженни почувствовала, как внутри что-то поворачивается: страх, любовь, ужас, нежность - всё сразу, одним комом.

- Мой, - выдохнула она. - Мой.

Хаскелл, не глядя, взял у акушерки свёрток и быстро передал кому-то за спиной Дженни. Она не видела - кому. Лишь краем глаза заметила тень в дверях: фигуру в чёрном.

- Подождите! - закричала она. - Дайте мне его!

- Дженни, милая, - сказал доктор Хаскелл, склоняясь над ней и пряча глаза за блеском очков. - Дженни, послушай меня.

И она поняла по одному только его тону.

Глава 4. Ложь

Её положили в отдельную палату. Свет там был приглушённый, как в церкви. Через час пришёл Рэй - он стоял в дверях, мял в руках шапку и не мог выговорить ни слова.

- Папа, - сказала Дженни. - Где он?

- Дженни…

- Где мой сын?

- Он умер, - сказал Рэй хрипло. - Детка, он… ему не хватило воздуха. Они пытались. Они очень старались. Доктор говорит, у него было сердце…

Она смотрела на него. Всё, что он говорил, звучало как плохой перевод с чужого языка.

- Он открыл глаза, - сказала она. - Папа, он на меня смотрел.

- Это иногда бывает, - сказал голос из-за спины Рэя, и вошёл доктор Хаскелл. Лицо у него было серое, мятое. - Рефлекс. Мышцы глаз сокращаются ещё несколько секунд. Мне очень жаль, Дженни. Мне правда жаль.

- Дайте мне его увидеть.

- Это невозможно. Он… в морге. Так положено по закону.

- Я хочу увидеть своего сына!

- Дженни. - Хаскелл присел на край кровати, и она вдруг заметила, что у него дрожат руки. - Поверь мне, ты не хочешь его видеть. Не такого. Лучше помни его… как мог бы быть.

Она кричала. Потом перестала. Потом ей вкололи что-то, и всё сделалось ватным и далёким.

Сквозь вату она слышала, как Рэй и Хаскелл говорят в коридоре. Слов было не разобрать, но она запомнила одно: голос отца, сорвавшийся на *«сколько?»*, и голос доктора, ответивший: *«Это не плата, мистер Колдуэлл. Это… компенсация за расходы»*.

Позже, много позже, Дженни вспомнит этот обрывок и поймёт, что он значил. А пока она просто лежала и смотрела в потолок, где трещина, похожая на реку, текла из угла в угол - и думала, что этой ночью с ней случилось что-то, чего она не понимает, и что кто-то очень сильно ей солгал.

На парковке больницы, в сером «Форде», сидел брат Томас Дойл. Его трясло. На коленях у него, завёрнутый в зелёную пелёнку и монастырскую овчину, лежал младенец.

Мальчик не плакал. Он спал или делал вид, что спит. Лицо - спокойное, будто он видел сон, где всё хорошо.

- Прости, малыш, - прошептал Томас. - Прости меня, ради Бога.

В окно постучали. Это была сестра Мэри Маргарет - молодая монахиня, которую отец Рау привёз ради такого случая: бывшая медсестра, из тех, кто не боится ни крови, ни смерти. Она открыла дверь, села на заднее сиденье, молча протянула руки.

Томас передал ей свёрток.

Она приняла ребёнка так, как принимают хрупкую вазу - но когда он оказался у неё на руках, её лицо изменилось. Оно разгладилось, как будто с него стёрли пыль. Мальчик во сне зашевелился, потянулся маленьким кулачком и ухватил складку её чёрной рясы. Держал крепко.

- Какой тёплый, - сказала сестра Маргарет почти шёпотом. - Господи, какой он тёплый.

- Не привязывайтесь, - сказал Томас. Он не знал, зачем это говорит. - Сестра. Отец Рау сказал…

- Я знаю, что сказал отец Рау.

Она подняла глаза. У неё было узкое лицо, высокие скулы, большие тёмные глаза, под которыми лежали вечные тени. Она потеряла когда-то то, что не восстановить, и Томас знал это, потому что видел такие глаза у людей, переживших пожар.

- Но он не *оно*, - сказала Маргарет. - Он младенец.

- Сейчас - да.

- Сейчас - это единственное, что у нас есть.

За окном бесновалась метель. Где-то в больнице, в палате на втором этаже, девятнадцатилетняя девочка лежала, глядя в потолок, и не знала, что её ребёнок жив, что он в сорока футах от неё, и что она никогда не перестанет его искать.

Томас завёл мотор. «Форд» тронулся, разбрызгивая слякоть.

Над больницей, на крыше, на проводах, на фонарях, сидели птицы. Сотни. Они провожали машину глазами.

И все, как одна, молчали.

Часть вторая. Монастырь

Глава 5. Имя

Монастырь Святого Эгидия стоял на Холодном Хребте так, как стоит на столе забытая кем-то кружка: нелепо, одиноко и непонятно, зачем.

Основал его в 1873 году ирландский священник, сбежавший от какого-то скандала, и с тех пор здание разрасталось без плана - пристройками, переходами, флигелями, так что в конце концов превратилось в лабиринт из серого гранита, красного кирпича и почерневших досок. Здесь жили тридцать четыре человека: двадцать два монаха, одиннадцать сестёр и повар, брат Ласло, который не принадлежал ни к кому и ни к чему, кроме своей кухни. Зимой отопление работало в двух крыльях из шести, и по утрам вода в умывальниках покрывалась коркой льда.

Людям из города говорили, что это обычная община «созерцательного толка». Люди из города не интересовались. Дорога на Холодный Хребет была в таком состоянии, что ездили по ней только лесовозы да те, кто заблудился.

Сестра Мэри Маргарет принесла младенца в Женское крыло в шесть утра, пока все ещё были на утренней службе. Она шла по коридору, прижимая свёрток к груди, и каждый скрип половицы отдавался в ней, как выстрел. В келье, которую ей отвели - узкой, с одним окном, с железной кроватью и распятием, - уже стояла плетёная корзина, застеленная сложенным вдвое одеялом, и бутылочки со смесью, и стопка пелёнок. Отец Рау был педантом. Он предусмотрел всё, кроме того, что люди, которые получают в руки живую душу, не остаются прежними.

Маргарет положила мальчика в корзину и села на кровать. Руки у неё тряслись. Только теперь, в тишине, она позволила себе по-настоящему на него посмотреть.

Он спал. Тёмные волосы, высокий лоб, нос в точности такой формы, как рисуют на старых иконах. Губы розовые, чуть приоткрытые. Если бы кто-нибудь спросил её, на кого похож ребёнок, который должен стать антихристом, она бы ответила: на обычного младенца, и в этом весь ужас.

То, что ей не сказали, но что она поняла сама, - девочку, которая его родила, обманули. Ей сказали, что сын умер. А потом сказали это Маргарет: *вы будете ему матерью, сестра. Но вы никогда не будете звать себя так вслух.*

Она не должна была спрашивать, но спросила тогда, у настоятеля:

- Отец, а как мне его называть?

Рау сидел в своём кабинете под портретом святого Эгидия. Это был крупный старик с лицом боксёра-пенсионера: тяжёлая нижняя челюсть, нос со сломанной когда-то переносицей, тихий голос. Он был ровесником Ансельма - нет, моложе, шестьдесят один, - но казался старше, потому что слишком много лет носил на плечах слишком тяжёлую вещь.

- Никак, - сказал он. - Это объект наблюдения, сестра. У него не должно быть имени, чтобы не возникло привязанности.

- Отец, ему три часа от роду.

- Именно. Поэтому сейчас самое время.

Маргарет смотрела на него и чувствовала, как внутри неё медленно поднимается что-то, чего она давно в себе не знала. Это была не злость. Злость - горячая. Это было холодное, твёрдое, как гранит под ногами.

- Отец Бенедикт, - сказала она, - я пять лет работала в родильном отделении Лоуэлльской больницы. Я принимала детей. Я хоронила детей. Я знаю одну вещь наверняка: ребёнок, у которого нет имени, не выживает. Не обязательно умирает - просто что-то в нём перестаёт

держаться за жизнь. Вы хотите, чтобы он выжил, чтобы вы смогли за ним наблюдать? Тогда он должен быть чьим-то. Хотя бы моим.

Он долго молчал. Потом сказал:

- Имя может быть только рабочим. И никаких фамилий.

- Тобиас.

- Почему?

- Потому что в Писании оно значит «Господь - благо», - сказала она. - Если уж он будет жить здесь, то пусть хотя бы имя его не было пустым.

Рау посмотрел на неё долгим тяжёлым взглядом и, кажется, чуть-чуть улыбнулся.

- Вы ведь понимаете, сестра, что вам будет тяжелее, чем любому из нас?

- Да, отец.

- Хорошо. Тогда пусть будет Тобиас. Но запомните: рано или поздно придёт день, когда вам придётся выбирать. И я надеюсь, что вы выберете правильно.

Она вышла из кабинета и не ответила ему, потому что не знала, что ответить.

Глава 6. Эллен-Роуз

О том, почему Маргарет Куинн, двадцати девяти лет, бывшая старшая медсестра, пришла в монастырь, в общине знали только двое: сама Маргарет и отец Рау, потому что она рассказала ему на исповеди.

Её мужа звали Дэвид. Он был строителем - крупным, добрым, шумным, из тех людей, которые чинят соседям крыльцо просто так, потому что им нравится что-то делать руками. Они прожили вместе четыре года. Он хотел шестерых детей. Она - хотя бы одного, но чтобы обязательно девочку, и чтобы назвать Эллен-Роуз, в честь бабушки.

Эллен-Роуз была зачата в марте 1980-го. В ноябре, за три недели до срока, Маргарет проснулась ночью от того, что в животе стало тихо.

Она работала в родильном отделении. Она знала, что такое «тихо». Она лежала в темноте рядом со спящим мужем, положив ладони на живот, и ждала толчка. Не было ничего. Не было долго. В конце концов она встала, оделась, разбудила Дэвида и сказала совершенно ровным голосом: «Поехали в больницу. Кажется, она умерла».

Она была права.

Эллен-Роуз родилась мёртвой, с пуповиной вокруг шеи - два тугих оборота. Маргарет держала её на руках двадцать минут, потому что молодая акушерка, которая её знала, не смела отнять. У девочки были рыжеватые волосики. Крошечные ногти. Родинка на правой щеке, как точка, поставленная кем-то в конце предложения.

Дэвид похоронил её сам. Он выкопал могилу на кладбище Святого Иосифа и опустил маленький белый гробик, как будто нёс домой что-то очень хрупкое. Через пять месяцев он разбился на трассе №3, возвращаясь с объекта. Говорили - уснул за рулём. Маргарет подозревала, что нет. Но это уже не имело значения.

Она ещё год работала в больнице. Принимала чужих детей. Улыбалась матерям. Ходила на кладбище, где под двумя памятниками, большим и совсем маленьким, лежала вся её жизнь. А потом, в одну из ночей, её вызвали в родовую, где у девочки-подростка начались схватки, и ребёнок вышел синим, молчаливым. Маргарет трое суток, почти не сходя с места, возилась с ним, пока он не заплакал. Она вышла в коридор, села прямо на пол, и её вырвало. А потом она засмеялась. А потом заплакала. И поняла, что больше не может.

К отцу Рау её привёл старый больничный капеллан. Она хотела тишины. Она хотела туда, где никто не родит и никто не умрёт. Она не знала, что в монастыре Святого Эгидия есть ещё и третья вещь - тайна, ради которой людей выбирают.

- Мы нуждаемся в женщине, - сказал ей Рау, - с вашим опытом. Для одного очень особенного ребёнка. Вам придётся быть к нему внимательной. Вы понимаете, что такое внимание?

- Да, - сказала Маргарет.

Она не понимала. Но когда ей положили в руки тёплый живой свёрток, и маленький кулачок ухватился за её рясу, она вдруг почувствовала - впервые за шесть лет - что внутри неё что-то согревается. Осторожно. Как оттаивающая река.

И она подумала, глядя на спящее лицо Тобиаса:

Здравствуй. Ты не она. Я знаю. Но здравствуй.

Глава 7. Первые годы

Зима 1987-го. Весна. Лето.

Тобиас рос так, как растут младенцы в хороших сказках: безупречно. Он не болел. Не прорезал зубы с воем и температурой, как все, - они просто появлялись, один за другим, белые, ровные. Он спал по ночам, а когда не спал, то лежал в корзине и смотрел в потолок или на лицо Маргарет с серьёзностью маленького философа.

Но были и странности. Их накапливалось всё больше, и каждую по отдельности можно было списать на совпадение.

В апреле Маргарет принесла в келью букет сухих веточек - они остались от Пальмового воскресенья, мёртвые, ломкие. Она поставила их в банку с водой, просто так, чтобы не выбрасывать. На следующее утро ветки были покрыты крошечными зелёными листьями. Маргарет долго смотрела на них. Потом вынесла банку в коридор и сказала сестре Бригитте, что нашла её у окна.

В мае с лестницы упал пожилой брат Фома - три пролёта вниз, каменные ступени. Все ждали худшего. Он поднялся, потирая бок, и сказал: «Странное дело, я как будто на что-то мягкое упал». Маргарет в тот момент держала Тобиаса на руках, стоя на площадке этажом выше. Малыш смеялся и тянул руку к лестнице.

В июле она заметила, что мухи не садятся на него.

Маргарет вела записи - не потому, что ей приказали, а потому что привыкла к медицинским картам. «Развитие нормальное. Аппетит хороший. Реакции на свет и звук адекватные. Странности: растения. Падение брата Ф. Мухи». Она показала тетрадь брату Ансельму, и тот, надев очки с толстыми стёклами, долго читал, шевеля губами.

- Вы думаете, это он? - спросила она.

- Я думаю, - сказал Ансельм, - что пока это не зло, сестра. Это… сила. Сосуд ещё не наполнен. Он как озеро: то, что в нём живёт, пока просто отражается. - Он снял очки, потёр красные веки. - Рукопись говорит, что до пяти лет он будет чист. Это правда. Сам этот ребёнок… что бы ни пришло потом, сейчас он - просто мальчик. Любите его, сестра. Это единственное, чему я могу вас научить.

- Отец Рау говорит другое.

Ансельм усмехнулся - коротко, одним уголком рта.

- Рау говорит, что любовь - это слабость, потому что её используют. Он прав. Но он забывает, что любовь - это ещё и сила, а сила тоже используется. Просто не всегда теми, кому она нужна.

Она поймала себя на том, что называет его «Тоби» уже в июне.

- Тоби, ну-ка, ложку. Вот так. Молодец. Тоби, кто у нас такой умный?

Сестра Бригитта - шестидесятилетняя монахиня с лицом, напоминавшим сушёное яблоко, и привычкой записывать чужие грехи в блокнот, - слышала это, остановилась в дверях и сказала сухо:

- Это не ваш сын, сестра Маргарет.

- Я знаю.

- Тогда зачем вы поёте ему колыбельные?

- Потому что он слушает, - сказала Маргарет. И, помолчав, добавила: - А вам никогда не хотелось, чтобы кто-нибудь вам спел?

Бригитта побледнела. Ушла. Позже Маргарет узнала, что в двадцать лет сестру Бригитту выдали замуж по сговору родителей, и она ушла в монастырь, потеряв сначала сына, прожившего один день, а потом и мужа.

У каждого здесь был свой Эллен-Роуз.

Первое слово он сказал в десять месяцев. Маргарет была в келье, гладила облачение, а он сидел на полу и возился с деревянными кубиками. Вдруг поднял голову.

- Ма.

Утюг в её руке замер.

- Что, милый?

- Ма-ма.

Это было так просто, так по-человечески, что она села прямо на пол и закрыла лицо руками. Тоби подполз, ткнулся головой ей в колени.

- Ма-ма.

- Да, - сказала она, не отнимая ладоней. - Да, мой хороший. Да.

Она знала, что потом пожалеет. Что это - самый опасный день из всех, что ей остались. Но в тот миг ей было всё равно.

Год. Два. Три. Тоби вырос в серьёзного мальчика с пристальным взглядом и привычкой говорить так тихо, что приходилось наклоняться. Монахи, привыкшие к молчанию, находили его удобным ребёнком. Повар, брат Ласло, подкармливал его вафлями, которые тайком готовил в воскресенье, нарушая все посты и распорядки. Старый колли по кличке Бенни, который за всю жизнь не признавал никого, кроме самого Ласло, приходил по вечерам к двери Маргарет, ложился на пороге и ждал. Тоби выходил, обнимал его за шею и бормотал что-то собачье, понятное только им двоим.

Маргарет учила его читать по книжке про медвежонка, которую привезла из Лоуэлла. Она рассказывала ему про звёзды. Про то, как пахнет дождь. Про папу, которого у неё когда-то не хватило сил удержать. Не называя имён, но так, что мальчик слушал, не шевелясь.

И каждый вечер она пела ему одну и ту же песню, колыбельную без слов, мелодию, которую когда-то сочинила для Эллен-Роуз и которую никогда не пела вслух. Только теперь она поняла: эту песню она пела не для одной маленькой могилы. Она пела её для всех, кого не смогла спасти.

- Мама, - спросил однажды четырёхлетний Тоби, уже засыпая, - а почему ты иногда плачешь, когда поёшь?

- Потому что красивая песня, милый.

- Нет, - сказал он, глядя на неё сонными серыми глазами. - Это потому, что ты думаешь про ту, другую.

Она замерла.

- Про какую другую?

- Про девочку. Рыжую. С точкой на щеке.

Она ничего ему не говорила. Никогда. Ни единого слова.

- Тоби, - сказала она очень медленно, - откуда ты это знаешь?

Он уже спал.

Глава 8. Последний день рождения без тени

Рау приходил раз в месяц. Он стоял в дверях, огромный, молчаливый, смотрел на мальчика, который рисовал на полу цветными мелками, и делал пометки в блокноте.

- Я хочу, чтобы вы вели дневник, - сказал он Маргарет весной 1991 года. - Каждый день. Что он говорит, что делает, что вызывает у других реакцию. С датами. Особенно - всё необычное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.